

я увидел у Вячеслава Ивановича его фотографию. Он был снят в берете, с книгой в руках. На этом портрете он чем-то напоминал Ф.И. Тютчева. Я попросил разрешения взять на несколько дней этот портрет, чтобы переснять для себя и для своих друзей по университету. Когда переснятые фотографии были готовы, на обороте одной из фотокопий Вячеслав Иванов около 20 декабря 1923 года сделал для меня такую надпись:

Victori manu Elohim

Поэт, писатель и подвижник
In puce и в одном лице.
Вы добный путник, белый книжник
Мне грезитесь в тройном венце,
Вы оправдываете, ревнитель
И совопросник строгих Муз,
Двух звуков имени союз,
Рукою Божьей победитель.

Последняя строчка — перевод заглавия, по звучанию напоминающего мое имя и фамилию: Виктор Мануйлов. «In puce» — то есть, в самом себе (буквально: в орехе; лат.).

На эту надпись 22 декабря я ответил Вячеславу Ивановичу таким признанием:

Ты сердцем солнечным, Учитель милый,
Меня давно неудержимо влеч,
И я летел к тебе золотокрылый,
И трепетный, и глупый мотылек.

Я тоже солнечный, но Всемогущим
Мне мудрости змеиной не дано,
Я только радуюсь лугам цветущим,
Я только пью медяное вино.

Что принесу тебе я легокрылый?
Твои цветы в твои же цветники!
За то, что ты, Учитель, свет мой милый,
Взял мотылька к себе в ученики.

В последние дни 1923 года Вячеслав Иванович сделал на обороте той же подаренной мне фотографии приписку:

Я вижу, детям солнца миль
Мои живые цветники,
Коль мотылек воздушнокрылый
Ко мне упал в ученики.

Так этой стихотворной перепиской было признано и определено мое

ученичество у Вячеслава Иванова. И впоследствии, в трудные минуты жизни, мне не раз вспоминались слова учителя в первом его обращении ко мне, и эти слова придавали веру в свои силы и не раз помогали преодолевать казавшееся непреодолимым, потому что Учитель был и Пророком, зорко предвидел будущее и знал, предугадывал многое случившееся впоследствии.

Эта значительность всего, связанного с Вячеславом Ивановичем, глубина и проникновенность его речей порой сочетались с иронической улыбкой, грациозной шуткой, полунасмешкой на бытовые мелочи, понятными только двум—трем его собеседникам. Соединение значительности и простоты, жреческого, почти торжественного спокойствия и непринужденной свободы и легкости обращения всегда удивляло и восхищало меня. Быть может, это объяснялось не только мудростью, но и чуткостью Вячеслава Ивановича, способностью отчетливо представить себе состояние собеседника, подлинным тайновидением.

Решительно утверждаю, что Вячеслав Иванов обладал редкой способностью читать чужие мысли. (Впоследствии я встретил еще одного такого удивительного человека — Вольфа Мессинга). И в обыкновенных бытовых встречах, и особенно на экзаменах Вячеслав Иванович безусловно читал и понимал, кто чего не знает и кто что знает, задавал часто тактичные вопросы, чтобы обойти то, чего студент не знал и, наоборот, иногда неумолимо требовал точного ответа, наверное зная, что на этот вопрос студент ответить не может.

Однажды весной 1923 года я шел к Вячеславу Ивановичу. Недалеко от университета, около почтамта, я увидел нищего, настоящего восточного дервиша. Тогда в Баку было очень много нищих. Почему-то я не подал ему милостыни. Отойдя от него на несколько шагов, я нащупал в кармане монетку, но поймал себя на том, что мне почему-то стыдно вернуться и дать ему деньги. Так я прошел мимо и, пытаясь оправдаться, стал думать, что, может быть, правы те, которые полагают, что милостыню подавать не нужно, что это развращает тех, кому дают милостыню. В этих душеспасительных рассуждениях я и вошел в комнату Вячеслава Ивановича. Он сидел за столом вместе с профессором Л.А. Ишковым и пил белое вино. Друзья рассуждали о какой-то очень специальной исторической теме, связанной со средними веками. Вячеслав Иванович прервал Леонида Александровича, посмотрел на меня внимательно (я еще ничего не успел сказать) и спросил: «Ну, так как же все-таки, нужно подавать милостыню или нет?» И стал потом говорить, что он думает о милостыне, о том, что прежде всего, давая, богаче становится дающий, ибо «рука дающего не скудеет».

Я знаю, что однажды Вячеслав Иванович написал письмо, отвечая одному человеку на его написанное, но не отправленное письмо.

Мне посчастливилось беседовать с разными и часто значительными людьми. Но из них едва ли не самым удивительным был Вячеслав Иванович. Разговаривать с ним было всегда интересно и страшно, никогда не оставалось пустых моментов, не было слов для того, чтобы только говорить, слов для вежливости, того, что В. Шкловский называет «упа-

О Вячеславе Иванове

Воспоминания о Вячеславе Ивановиче Иванове имеют не только личное значение. Вокруг его имени существуют легенды, искажающие его облик и не соответствующие реальному прошлому. Так, в четвертом томе «Литературной энциклопедии» (1930) в статье о Вяч. Иванове, написанной В. Михайловским, сказано: «С 1921 г. — в Баку, где был профессором, некоторое время ректором университета и замнаркомпроса Азербайджанской ССР» (с. 405). Эти же сведения повторены в статье Л.П. Печко в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1960, т. 3, с. 38).

На самом деле В.И. Иванову с семьей, состоящей из дочери Лидии и сына Дмитрия, осенью 1920 года удалось получить разрешение выехать из Петрограда на Кавказ, где он поселился в Кисловодске. Но через месяц на Северном Кавказе начались ожесточенные бои завершительного этапа гражданской войны, и Ивановы переехали в Баку. Как раз в это время в столице Азербайджана собралась группа крупных ученых, в частности, гуманистариев, которые объединились вокруг только что созданного университета. Вячеслава Ивановича приняли с радостью и предложили заведование кафедрой классической филологии. Ректор, профессор С.Н. Давиденков, предоставил ему помещение в здании университета: отгороженный тонкой стенкой угол вестибюля. Вяч. Иванов был профессором кафедры классической филологии с конца 1920 по май 1924 года.¹

Нарком просвещения Азербайджанской ССР в эти годы был старый коммунист, талантливый азербайджанец Буниат-Заде, а его заместителем — известный лингвист, профессор В.Б. Томашевский, одно время ректор Ленинградского университета. Ни заместителем наркома Просвещения, ни ректором университета В.И. Иванов не был, хотя мог быть избран в качестве ректора: тогда эта должность замещалась по выборам в Ученом Совете университета. Но Вячеслав Иванов всегда очень смело и независимо высказывал свои идеалистические и религиозные убеждения, и, конечно, при всем уважении и бережном отношении к нему его не могли бы назначить на высокий пост в Народном комиссариате просвещения или выбрать ректором только что образованного университета. Столь же фантастично и неосновательно утверждение о том, будто в Италии В. Иванов стал префектом Ватиканской библиотеки и кардиналом.² Впервые я

увидел Вячеслава Иванова ранней весной 1922 года в вестибюле Азербайджанского государственного университета. Высокий, румяный, он шел легкой походкой, немного сутуясь, по направлению к своей «комнате». Его седые волосы светились и ореолом расходились вокруг большого лба, сивающимся с лысиной.

Это Вячеслав Иванов — с нескрываемым восхищением сказал мне мой собеседник. Его волнение передалось мне: да, именно таким я представлял себе этого удивительного человека, о котором столько уже слышал, учеником которого мечтал стать, и таким навсегда запомнил неповторимый облик ученого-филолога, мыслителя, поэта.

Лекции по истории русской литературы читал проф. В.В. Сиповский. Интересный и важный материал он излагал монотонно и у студентов популярностью не пользовался. Зато лекции Вяч. Иванова по греческой литературе и мифологии, о Пушкине, «Фаусте» Гёте и др. привлекали не только словесников и историков, на них приходили физики, медики и даже студенты Политехникума. Читал он обычно в самой большой аудитории. Греческие и латинские стихи звучали у него как музыка. Все лекции Вяч. Иванова были необыкновенно красочны и, открывая неведомые миры, оставляли глубокое впечатление. Он говорил всегда увлекательно, вдохновенно, хотя и не для всех понятно, удивляя разносторонностью своих интересов и познаний. После лекции слушатели часами говорили, обсуждали услышанное и спорили. Идя на зачет к Вячеславу Ивановичу, готовились особенно тщательно и серьезно.

Вскоре лекции Вячеслава Иванова стали для меня и небольшой группы сплотившихся вокруг него учеников, посещавших также и его семинары по Пушкину и поэтике, самыми главными, самыми значительными в нашей университетской жизни событиями.

В комнате за перегородкой, рядом с шумным вестибюлем, в котором всегда толпились студенты, Вячеславу Ивановичу с его старшей дочерью Лидией и десятилетним сыном Димой было беспокойно и неуютно. Если не ошибаюсь, в начале нового, 1922—1923 учебного года семья перебралась в лучшее помещение: в отдельную квартиру из двух комнат в первом этаже того же здания (бывшего Бакинского коммерческого училища) с отдельным ходом, в стороне от университетской суеты. Тут, в этих комнатах, в заваленном и заставленном книгами и рукописями кабинете, мне случалось часто и подолгу беседовать с Вячеславом Ивановичем о предстоящих семинарских занятиях, о прочитанных книгах, о стихах, которые мы все тогда писали и приносili ему на строгий суд. И с каким терпением, с какой проницательностью он разбирал все написанное его учениками!

В конце 1923 года мы обменялись стихотворными посланиями. Однажды

¹ См. обстоятельную статью Н.В. Котрелева «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета» (Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. Ученые записки Тартусского государственного университета. Тарту. 1968. Вып. 209. С. 326—339.)

² М. Чарный в статье «Неожиданная встреча (Вяч. Иванов в Риме)» — Вопросы литературы. 1966. № 3. С. 194—199 — пишет, что на его вопрос о кардинальстве Вячеслав Иванович ответил: «Ну, какой же я кардинал... Я работаю в Ватикане, это верно. Мне разрешили ра-

-ботать в Ватиканской библиотеке, вот и все». (с. 198). Там же Чарный приводит цитату из письма М. Горького к П.С. Когану от 7/III 1929 г. о В. Иванове: «Русский советский профессор с красным (!) паспортом читает итальянским профессорам лекции по литературе. Анекдот исторический».

ковочным материалом». Всегда все только самое главное, самое существенное, он брал, как говорится, «быка за рога», потому что знал, что всего нужнее и интереснее собеседнику. Он понимал всякий раз в каком состоянии приходит к нему человек, прекрасно чувствовал, что волнует в данный момент его собеседника и сразу же отвечал, иногда по ассоциации, исходя, может быть, сначала из самого случайного и частного и приходя кратчайшим путем к цели.

Вячеслав Иванов казался человеком мягким, но его мягкость была кошачья, тигриная, волевая, собеседник всегда чувствовал себя прочно взятым в руки. Никогда ничего не упрощая, говоря иногда непонятное нам тогда по нашему возрасту и развитию, Вячеслав Иванович, вместе с тем, никогда не унижал собеседника ощущением этого бесконечного расстояния между ним и нами.

Мне приходилось говорить несколько раз с В.Я. Брюсовым, и всегда сковывало ощущение того, что ты ничего не знаешь, что с тобой говорит всезнающий, мудрейший человек, сошедший с высот.

Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось, как с родным человеком, который мудрее тебя, но говорит с тобой, как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть и речи. Он удивлял мягкой вкрадчивостью, вызывавшей доверие. Но я бы не сказал, что он был человеком такой же необыкновенной доброты, как Максимилиан Александрович Волошин. Иногда Вячеслав Иванович был человеком совсем не добрым, и тогда от него исходили страшноватые искры. Казалось, что если бы он захотел, то мог бы испепелить собеседника-противника. Однако, зная свою колдовскую силу, он употреблял ее в редчайших случаях. Мне пришлось видеть его в гневе только несколько раз, он был страшен. К счастью, гнев его был обращен не на меня.

Однажды я спросил Вячеслава Ивановича, почему он так внимателен ко мне и тратит столько времени на разговоры со мной вне университета, дома. Он ответил, что беседы со мной и рассказы об уже пережитом, знание моего прошлого и настоящего позволяют ему уверенно заглянуть в будущее, а направленность моего пути он уже чувствует по моим ранним стихам. Мне было тогда двадцать лет или немного больше. В отличие от моих сверстников и друзей по университету, которые жили в родительской семье и были относительно обеспеченными молодыми людьми, мне с восемнадцатилетнего возраста пришлось жить самостоятельно и много работать. Из 42-х рублей жалованья, которые я получал в Баку, 35 р. приходилось платить за комнату (служебную комнату я получил позднее). Родители едва сводили концы с концами, и на их помощь рассчитывать я не мог. Служба и занятия в университете занимали весь день. Готовиться к семинарским занятиям, осознавать впечатления интересной и содержательной жизни и читать можно было ночью. Я постоянно недосыпал.

Однажды Вячеслав Иванович вспомнил о своем трудном отрочестве. Ему было пять лет, когда умер отец. Семья обеднела, и в гимназические годы мальчик должен был давать платные уроки. Читать он мог только ночью.

Вячеслава Ивановича располагало ко мне не только знакомство с моими ранними стихами и увлеченность университетскими занятиями, но, по-видимому, сочувствие к моим трудностям. Очень ценил он в людях работоспособность и обязательность. Познакомившись со мной ближе, поняв мой характер и оценив возможности, Вячеслав Иванович поручил мне обязанности секретаря двух семинаров, которые он вел, — по Пушкину и по поэтике. Его не смущила моя большая занятость. Решив поручить мне дополнительные обязанности секретаря своих семинаров, он верил, что я справлюсь и с этой нагрузкой, а я, конечно, был благодарен ему и очень ценил почти каждодневные встречи с ним, связанные, впрочем, не только с университетскими делами. При этом Вячеслав Иванович заинтересованно и подолгу расспрашивал меня о моих сокурсниках. Это помогло мне лучше понять его внимание и заботу, без которых нельзя себе представить строгой щедрости нашего Учителя.

Когда весной 1923 года я слег с тяжелой простудой, Вячеслав Иванович попросил профессора Мезерницкого внимательно осмотреть меня и, когда выяснилось, что задеты легкие, встремился, уговаривая оставить службу и университет и поскорее уехать домой лечиться, а экзамены сдавать осенью. Он сердечно заботился обо мне, уверяя, что это его обязанность заменить мне здесь папу и маму.

Должен признаться, что стихи Вячеслава Иванова начинают по-настоящему доходить до меня только сейчас. Долгое время он был для меня прежде всего одним из самых удивительных людей, которых я видел в жизни. И его человеческая необыкновенность заслоняла все остальное. Потом это был ученый, заботливый, внимательный наставник, Учитель. Если бы от Вячеслава Иванова остались только стихи, может быть, мы не так горячо и благодарно вспоминали его.

Трудно предугадать дальнейшую судьбу поэтического наследия Вячеслава Иванова, восприятие его поэзии и понимание его творчества в будущем. Следует признать, что один из самых значительных деятелей русского символизма и при жизни был известен небольшому кругу читателей и оставался поэтом для поэтов, литературоведом для узкого круга исследователей. Не удивительно, что некоторые литературоведы и поэты нашего времени, а также читатели, полагают, что поэзия Вячеслава Иванова обречена на забвение. Однако для многих, способных оценить своеобразие и глубину поэтической мысли поэта, не возникало сомнений в плодотворности художественных открытий Вячеслава Иванова, который принадлежал к немногим поэтам-мыслителям своего времени, опиравшимся на глубочайшие традиции мировой культуры и, прежде всего, культуры античной. И в этой глубине творческих корней Вячеслава Иванова, быть может, было нечто гетеевское. В пристальном внимании к античности, в широте и основательности эрудиции, особенно в области немецкой культуры, Вячеслав Иванов, как и Андрей Белый, превосходил русских поэтов начала нашего века.

В лекциях и на семинарах Вячеслав Иванович постоянно упоминал имена Гёте и Шиллера, своего учителя прославленного историка Древнего Рима Теодора Моммзена, книгу Д. Фрезера «Золотая ветвь» и Фридриха

Ницше, открытого им в годы молодости, особенно его работу «Рождение трагедии из духа музыки».

Вместе с тем, этот образованный «европеец» был явлением истинно русским, славянским. Ему были органически близки русский фольклор, народный эпос, былина. Не только как ученый, но прежде всего как поэт всю жизнь не расставался он с Державиным, Жуковским, Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, Некрасовым, а из современников ближе всего ему были Иннокентий Анненский, Андрей Белый и Александр Блок. Западничество Вячеслава Иванова не исключало его уважения к славяно-филам, а прозу С.Т. Аксакова, деятельность братьев И.В. и П.В. Киреевских, поэзию и критические статьи Аполлона Григорьева он ценил за бережное отношение к русскому быту и языку. Славянизмы и архаизмы постоянно встречались в его повседневной речи и естественно звучали в стихах. Интересные и глубокие мысли высказывал Вячеслав Иванов, анализируя творчество Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого.

Хочу отметить, что не только философия Тютчева, его лирика и судьба были психологически близки Вячеславу Иванову, но и внешне в годы жизни в Баку он напоминал стареющего Тютчева и выглядел старше своих лет. Впрочем, на подаренной мне фотографии, в берете, снятый в профиль, он напоминал еще и Данте.

В медлительном, иногда несколько величавом произношении своих стихов Вячеслав Иванов как бы смягчал некоторую тяжеловесность и непривычную для слуха перегруженность их ударными звуками. Эта замедленность чтения и плотность речи всегда соответствовали значительности поэтической мысли. Многие стихи, казалось, предназначались не для бумаги, а для вечной меди. Это была речь не оратора, но Пророка, Судии, однако в ней не было строгого или сатирического приговора. Поэт свидетельствовал о самых значительных событиях своего времени в общем потоке веков. Повседневное, даже будничное приобретало в его творениях приподнятость, иногда даже трагическую значительность. Понятно, что такая сложная и непривычная поэтическая речь не была доступна пониманию даже некоторых профессиональных критиков, находивших в поэзии Вячеслава Иванова бездушный и бессмысленный «филологический бред». В то же время крупные поэты-современники: И. Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Волошин, А. Блок высоко ценили творчество Вячеслава Иванова и видели в нем теоретика и вождя русского символизма. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и стихи, посвященные В. Иванову, а также дневники, воспоминания и переписка, которые только теперь становятся достоянием исследователей.

Мне довелось узнать Вяч. Иванова в пору его творческой зрелости. Ему предстояло еще полное исканий и жизненных испытаний целое двадцатипятилетие. Но уже тогда, в Баку, в его стихах было заметно стремление к большей ясности и простоте — простоте высокой, Пушкинской. Он не раз возвращался к своей известной статье о поэме Пушкина «Цыганы» и на семинаре в Бакинском университете, и в июне 1924 года в речи на чествовании великого поэта в Москве. Анализ звукописи в лирике Пушкина и разработка проблемы звукообраза у Пушкина в трактовке

Вячеслава Иванова опередили наших пушкиноведов, а также историков и теоретиков стиха. В отличие от многих своих современников, Вячеслав Иванов не принимал теории искусства для искусства. В его представлении искусство всегда служит самопознанию человечества. Художник должен быть «солью земли».

Все решительнее не принимая принципа индивидуализма, лежащего в основе философии Ницше, его антигуманизма и агрессивного имморализма, Вячеслав Иванов приходит к идеи всенародности искусства. Он преодолевает ограниченность индивидуального сознания и сосредоточивает внимание на идеи о сверхличном, всенародном и всечеловеческом — о «соборности» и «хоровом начале» в жизни и в искусстве.

В философии и творческом развитии Вячеслава Иванова все большее значение приобретает культ Диониса, греческого бога вина и загробного мира, бога ночи и «ночной стороны души», противостоящего «дневному» Апполону. Дионис — бог, освобождающий человека от скованности дневного сознания, открывающий в экстазе, в исступлении стихийную мудрость бытия. Поэтому проблема дионисийства для Вячеслава Иванова тесно связана с его идеей соборности, объединяющей людей и освобождающей от условностей и противоречий повседневности. Эти идеи Вячеслава Иванова лежали в основном курсе греческой религии и отчетливо проступали в его исторической поэтике.

В Баку Вячеслав Иванович подводит итог всем своим изучениям и защищает докторскую диссертацию «Дионис и прадионисийство», изданную в 1923 году.

В Вячеславе Иванове всегда волновала необычайная озаренность. Это был пламенный человек, человек с пылающим сердцем. Этим пламенем озарена и его поэзия, и не случайно название его главной стихотворной книги «Corardens» — «Пылающее сердце».

Возможно, Вячеслава Иванова нельзя назвать великим поэтом, но он был великим Человеком, великим Мыслителем, а для нас — Учителем.

В первой половине 1924 года вокруг Вячеслава Иванова образовалась группа его учеников. Мы собирались на литературные чтения в большой комнате у профессора-химика Петра Измайлова Кузнецова. Это не было какое-то литературное общество, а скорее напоминало литературный салон, в котором были две гостеприимные хозяйки: жена П.И. Кузнецова Раиса Александровна и ее дочь от первого брака Вера Федоровна Гадзяцкая, художница-график и поэт. Наше содружество называлось «Чаша». Молодежь на этих вечерах читала стихи, а в заключение с оценкой прочитанного и со своими произведениями выступал сам Вячеслав Иванович. Из представителей старшего поколения, бывавших на собраниях «Чаши», следует назвать профессора-искусствоведа и археолога Всеволода Михайловича Зуммера и близкого друга семьи Ивановых Сергея Витальевича Троцкого, очень своеобразного и тонкого мыслителя идеалистического толка.

Сохранилась групповая фотография, на которой запечатлены почти все участники наших вечеров. Здесь, кроме названных выше, сняты также Михаил Аркадьевич Брисман, впоследствии литераторовед и библиограф, специалист по изучению декабристов и, в особенности, творчества



Баку. Университет. Во 2-м ряду слева — поэт Вяч. Иванов,
у его ног — студент В. Мануйлов. 1922—1923 гг.



В.А. Мануйлов, писатель А.Н. Новиков и Л.Н. Назарова.
Пятигорск. 1939 г. У музея «Домик Лермонтова»

А.И. Одоевского; Александр Васильевич Уэльс, дальнейшей судьбы которого я не знаю; Мирра (Мириам) Моисеевна Гухман, впоследствии видный лингвист; Михаил Михайлович Сироткин, очень способный и многообещающий филолог и поэт, впоследствии занявшийся вопросами педагогики и психологии; Андрей Константинович Давидович, тогда студент сельскохозяйственного института, впоследствии садовод и агроном; Цезарь Самойлович Вольпе, впоследствии критик и литературовед, автор работ о В.А. Жуковском, И.И. Козлове, Андрее Белом, В. Брюсове, А. Блоке («Судьба Блока») и др., погибший при эвакуации из Ленинграда в районе Ладожского озера осенью 1941 года; дочь Вячеслава Ивановича Лидия Вячеславовна Иванова, тогда начинающий композитор, позднее ученица знаменитого Репспиги; Ксения Михайловна Колобова, впоследствии профессор Ленинградского университета, специалист по античной истории; Нина Александровна Гуляева, дочь нашего профессора философии, автора учебника логики А.Д. Гуляева, к сожалению, рано умершая; Мария Яковлевна Варшавская, впоследствии научный работник Эрмитажа, специалист по западной живописи, ставшая женой М.А. Брискмана; Александра Васильевна Вейс, вскоре ушедшая на комсомольскую работу и погибшая в ссылке; Елена Борисовна Юкель (в замужестве Оганян), уехавшая с мужем за границу; Елена Александровна Миллиор, историк, знаток греческой истории и литературы, после блокады Ленинграда преподаватель Ижевского педагогического института, автор серьезного исследования о романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», к сожалению, до сих пор не опубликованного (Елена Александровна в январе 1980 года скончалась). Фотографируясь, я удостоился чести сесть у ног Учителя и положить ему на колени согнутую в локте правую руку. Мы снимались в середине мая 1924 года, днем, на большой широкой застекленной веранде, примыкающей к комнатам, которые занимали Кузнецовых. Это была едва ли не последняя встреча участников «Чаши».

Обычно после наших дружеских чтений мы обступали Вячеслава Ивановича и отправлялись его провожать, благо до университета, где он жил, было всего несколько кварталов. Но Вячеслав Иванович всегда отговаривал нас от этих проводов и даже сердился.

В мае 1924 года А.В. Луначарский пригласил Вяч. Иванова приехать в Москву, чтобы принять участие в первых Всесоюзных пушкинских торжествах по случаю 125-летия со дня рождения поэта. Вячеслав Иванович согласился выступить с докладом «Пушкин в 1824 году». Уже тогда предполагалась его поездка в Италию. Командировку следовало обсудить при встрече с Луначарским и официально оформить.

Вячеслав Иванович предложил мне поехать с ним вместе в Москву; ехать не только для того, чтобы его сопровождать, но и для того, чтобы попытаться перевестись с его помощью в Московский университет. Он полагал, что после его отъезда в Италию осиротевшим ученикам его, особенно русистам, не легко будет кончать университет (возглавлявший кафедру русской литературы профессор А.В. Багрий не скрывал своей неприязни к Вяч. Иванову и к его ученикам). Но дело было не только в этом. Предстояла реорганизация, в результате которой были соединены

в 1924 году историко-филологический и физико-математический (!) факультеты в единый — педагогический. Впрочем, мы, студенты, особой перемены не ощутили от этого новшества. Уладились в конце концов и отношения с А.В. Багрием. Моеей дипломной работой он был доволен и даже навестил меня дома, пил чай и расспрашивал о дальнейших планах, предложил в числе шести оканчивающих одновременно со мной студентов остаться в Бакинском университете работать. Но я был настроен ехать в Ленинград, и он сказал, что может дать мне рекомендации к знакомым профессорам Ленинграда и Москвы и даже предложил оформить командировку.

Но возвращусь к лету 1924 года, к нашей с Вячеславом Ивановичем поездке в Москву. Надо ли говорить о том, что его предложение я принял с восторгом!

Вячеслав Иванович выезжал из Баку в Москву 28 мая 1924 года. Мне удалось получить отпуск из Политотдела Каспийского военного флота, где я тогда служил, и я отправился вместе с Вячеславом Ивановичем в одном купе скорого поезда.

Запомнились проводы на Бакинском вокзале горячим, по-летнему солнечным днем. Проводить Вячеслава Ивановича пришли многие его ученики. Лидия Вячеславовна и Дима — они пока оставались в Баку и приехали в Москву позднее.

Когда мы переезжали по большому мосту через Оку, уже неподалеку от Москвы, Вячеслав Иванович сделал на своей книге «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923) такую надпись:

«Милому спутнику из Баку,
Виктору Андronиковичу Мануйлову,
При переезде через Оку,
Любовно требуя верности эллинскому языку.

В.И.

30 мая 1924.

Требование верности греческому языку весьма характерно для Вячеслава Ивановича и значительно накануне его отъезда в Италию и предстоящей разлуки. Известно, что он с одиннадцатилетнего возраста по собственному почину стал изучать греческий язык на год раньше, чем это было предусмотрено гимназической программой. В университете я читал с Вячеславом Ивановым Овидия, Горация и Катулла, а греческий язык начал изучать у другого преподавателя и, к сожалению, так и не мог впоследствии продолжить эти занятия, хотя, конечно, понимал всю необходимость для русского филолога «верности эллинскому языку».

Москва понравилась Вячеславу Ивановичу своим оживлением, бодрым ритмом. За три года город заметно изменился: исчезли многие черты старого быта, увеличилось движение на улицах, стало больше транспорта и людей, иным стал весь ритм жизни столицы.

Мы остановились в Доме ученых, а затем вскоре Вячеслав Иванович устроил меня жить у Майи, Марии Павловны Кудашевой (впоследствии жены Ромена Роллана). Она жила тогда неподалеку от Дома ученых, в одном из переулков на Остоженке. Мария Павловна поселила меня в

комнате, где многое еще напоминало Ходасевича. Здесь даже висел еще слепок головы Пушкина, о котором упоминает Ходасевич в стихотворении, посвященном Октябрю. Почти каждый вечер приходил к Марии Павловне ужинать и читать стихи Борис Леонидович Пастернак. Пили морковный чай, Майя читала свои французские стихи. Пастернак слушал внимательно и пытался ей объяснить, что французский стих силлабический, а не силлабо-тонический, который она употребляла, но Майя все-таки продолжала писать французские стихи на русский лад. Я довольно рано уходил в свою комнату, а Пастернак засиживался иногда до двух—трех часов ночи. Жилось ей трудно. Она была в то время секретарем у критика-литератора П.С. Когана и получала скромное жалованье. Тем не менее, денег за комнату она у меня не взяла. С Вячеславом Ивановичем она была дружна давно, его рекомендация обеспечила мне радужный прием хозяйки. Как я узнал потом, Вячеслав Иванович даже хотел нас сосватать, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Я вскоре уехал в Баку, потом в Ленинград, а Майя вышла замуж за Ромена Роллана и уехала во Францию. Расстались мы дружески и так же дружески через много лет встретились, когда она приезжала в Советский Союз и несколько дней гостила у меня в Доме творчества писателей в Комарово. Изредка мы дружески переписывались до последних лет жизни Марии Павловны (она умерла во Франции весной 1985 года). Увы, на ее последнее письмо я уже не успел ответить.

С Вячеславом Ивановичем мы встречались каждый день: то обедали в Доме ученых, то у кого-либо из многочисленных его московских знакомых — у П.Н. Сакулина, М.О. Герцензона, Г.И. Чулкова, А.С. Рачинского, Л.П. Гроссмана и др. П.Н. Сакулин жил в Денежном переулке, в одном доме с А.В. Луначарским. Но свидание с А.В. Луначарским состоялось в один из первых дней после приезда Вячеслава Ивановича в Москву не дома, а на Чистых Прудах, где в доме № 6 помещался тогда Наркомпрос. Вячеслав Иванович пригласил меня сопровождать его, и мы отправились утром из Дома ученых пешком.

Пока дошла очередь до Вячеслава Ивановича, я наблюдал в приемной у Луначарского любопытный эпизод. Среди посетителей обращал на себя внимание пожилой, высокий и худой, очень подвижный человек в сильно поношенном, но когда-то элегантном костюме. Он был возбужден и разговорчив. Выяснилось, что это учитель танцев из Вологды, у которого Луначарский жил в молодости, в дореволюционные годы, в ссылке. Луначарский, Толя, как его по старой привычке называл танцмейстер, сначала ухаживал за старшей дочерью маэстро — красавицей Рашилью, а потом — за младшей, Розой. И вот теперь танцмейстер прочел в газетах, что нарком Луначарский озабочен судьбой балета Большого театра, и решил, что нужно срочно ехать «к Толе», чтобы помочь ему организовать и поднять советскую хореографию. Учитель танцев думал, что его примут с распростертыми объятиями, как старого друга, «осыплют милостями и золотом». Но увы! Когда он выходил из кабинета наркома, на лице его было написано разочарование. Выяснилось, что спасать русскую хоре-

графию Луначарский намерен, не прибегая к его квалифицированной помощи.

Наконец, нас пригласили к Луначарскому. Тут, в кабинете наркома просвещения, во время разговора Луначарского с Вячеславом Ивановичем, я увидел, насколько Анатолий Васильевич уважал и — более того — любил Вячеслава Ивановича. Луначарский был человеком необычайной широты интересов. В свое время он часто бывал по средам «на башне» у Вячеслава Иванова, спорил там с Н. Бердяевым, Д. Мережковским, В.В. Розовым. Тогда, в 1924 году, встретились два человека, хорошо знавшие друг друга. Это не была беседа руководителя комиссариата просвещения с одним из деятелей культуры, а непринужденная встреча добрых знакомых, конечно, не единомышленников, но людей, которые хорошо понимали друг друга.

Хочу особо подчеркнуть, что В.И. Иванов не был эмигрантом, он уехал в Италию по командировке наркома просвещения, довольно долго получал профессорское жалованье из Бакинского университета и затем остался в Италии с ведома и разрешения Советского правительства.

В 1924 году Вячеслав Иванов привез в Москву стихотворное либретто оперетты «Любовь-мираж», и я присутствовал у Чулковых на Зубовском бульваре на чтении и обсуждении этого либретто — жанра столь неожиданного для Вячеслава Ивановича.

Когда чтение окончилось, Вячеслав Иванович попросил присутствующих до начала обсуждения подать ему записочку, обозначив на ней знак плюс или минус — одобрение или осуждение. Вместо этого я написал такой элегический дистих:

«Минуса я не поставлю, но, плюс на листке воздвигая,
Над опереттой всей ставлю подобье креста.»

Такой приговор многим показался туманным, и поэтому Вячеслав Иванович потребовал, чтобы автор объяснил, что он хотел сказать. Мне пришлось открыться, и я объяснил, что, по моему мнению, либретто написано настолько умно и тонко, что оно не дойдет до публики и не будет иметь успеха. К сожалению, я оказался прав: музыку написал композитор Г.Н. Попов, но ни один театр оперетту так и не поставил.

Когда мы были у Михаила Осиповича Гершензона в Никольском (позднее — Плотниковском) переулке, он подарил мне на память свою книгу о Пушкине с надписью: «От престарелого Гершензона, чтобы учился думать не по-моему». К сожалению, в феврале 1925 года М.О. Гершензон умер. Я встретился в 1926 году в Геленджике с его вдовой Марией Борисовной. Она меня вспомнила, приглашала в Москву, обещала дать возможность ознакомиться с архивом Михаила Осиповича, но я так и не собрался к ней.

6 июня 1924 года в Большом театре состоялся вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Пушкина. В торжественной части вечера предполагалось выступление П.Н. Сакулина, М.А. Цявловского и Вячеслава Иванова. Сакулин от имени ученых и организаторов вечера просил А.В. Луначарского открыть собрание. Луначарский долго отказывался: «Что

же я буду говорить о Пушкине, когда здесь присутствуют такие пушкинисты!» Потом все-таки удалось его уговорить: «Хорошо, — согласился Анатолий Васильевич, — я скажу краткое слово минут на пятнадцать».

Луначарский открыл многолюдное собрание с небольшим опозданием, но начав говорить, так увлекся, что его выступление продлилось более двух часов. После этого с кратким словом выступил П.Н. Сакулин. Вячеслав Иванов произнес свою речь на тему «Пушкин в 1824 году», уделив особое внимание анализу поэмы «Цыганы». Концерт пришлось значительно сократить.

В перерыве перед концертом пили чай. Луначарский, несколько сконфуженный, беседовал с Вячеславом Ивановичем, П.Н. Сакулиным и М.А. Цявловским. Между прочим, говорили о дела Ясной Поляны, судьба которой особенно волновала М.А. Цявловского.

У меня сохранилась записка П.Н. Сакулина к Вячеславу Иванову, написанная 31 мая 1924 года:

«Дорогой Вячеслав Иванович! — пишет Сакулин. — Жена и я просим Вас в воскресенье к обеду. Будем обедать в 6 часов. А затем было бы приятно, если бы Вы остались и на вечер. Ваш П. Сакулин.»

P.S. Конечно, если молодой пушкинист (речь шла обо мне — В.М.) не имеет в виду ничего другого, просим и его пообедать.

P.S. Не откажитесь (через ученика) известить, ждать ли Вас к обеду. На обороте записи: «Срочно. Профессору Вячеславу Ивановичу Иванову. От П. Сакулина».

Сейчас я уже не помню, почему Вячеслав Иванович отдал эту записку мне. Помню, что Вячеслав Иванович по телефону поблагодарил Павла Никитича за приглашение и сказал примерно так: «Мой ученик, конечно, может пообедать и в Доме ученых, но ему полезно посмотреть, как обедают московские профессора. Позвольте, я приведу его к Вам».

Сакулин жил в большой квартире. В шкафах и на столах масса книг. После обеда Павел Никитич сказал: «А ведь я Вас пригласил не просто пообедать. Мне, Вячеслав Иванович, надо Вас заманить на собрание Общества любителей российской словесности, которое собирается у нас в университете по пятницам. Мы хотим Вас там немного фетировать» (то есть, чествовать). Вячеслав Иванович сказал, что у него нет сейчас ничего готового, стихов с собой не захватил, читать нечего, одним словом, чтоб не ждали от него интересной программы. Об этом заседании, где впервые встретились два больших поэта — Вяч. Иванов и Владимир Маяковский, я подробно расскажу в главе, посвященной последнему.

Через несколько дней мы отправились на Мещанскую улицу к Валерию Брюсову. Валерий Яковлевич получил приглашение от М. Волошина и собирался на лето в Коктебель, но опасался встретить там Андрея Белого, с которым был в ссоре. (Они действительно там встретились — в гостеприимном доме Волошина — и помирились).

Разговор Вячеслава Ивановича с Брюсовым был очень значительный и ответственный. По-видимому, это была их последняя встреча. Брюсов был болен, он и в Коктебель потом поехал с недолеченным воспалением легких. Когда мы пришли, Валерий Яковлевич сидел в кресле. Впрочем,

может быть, это было не кресло, а качалка или глубокое кресло на колесиках. Сидел укутанный пледом. Был прохладный, пасмурный день. Вячеслав Иванович подошел и суворо и строго поздоровался, затем сказал приблизительно следующее: «Ну, вот видишь, Валерий, что ты сделал со своей жизнью, а главное — со своим творческим даром?» И стал гневно высказывать свое суждение о последних стихах Брюсова: «Это не ты писал. Писал как если бы это было тебе заказано. Но это не твои стихи, не твой голос».

Мне приходилось видеть Брюсова в предыдущие годы как руководителя литературного объединения, властного, спокойного, недоступного. А здесь Брюсов весь сжался, стал как-то меньше. Я почувствовал себя неловко и пожалел Валерия Яковлевича. Мне не нужно было присутствовать при этом разговоре. Брюсов словно действительно почувствовал свою вину. Он говорил, что теперь уже ничего нельзя изменить, что все уже сделано, и жизнь почти решена. Говорил о том, что задумал написать большую вещь, но какую именно, не сказал. «Вот я там все и высажу, ты поймешь». Вячеслав Иванович отвечал, что поэзия не может жить одним только умом, необходимо эмоциональное внутреннее наполнение, прозрение, самораскрытие духа. Брюсов как бы оправдывался. Он был в положении человека уязвленного, не обиженного, но раненного.

Мы были не долго. На прощанье Вячеслав Иванович сказал Брюсову: «Нам нужно было повидаться, мы долго не виделись. Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя любил и мне очень, очень жалко тебя». Так они расстались. Эта встреча сильно задела и ранила Брюсова, который в эту пору подводил итоги своей жизни и чувствовал неудовлетворение от многоного.

9 или 10 июля В.И. Иванов ездил в Троице-Сергиевскую Лавру к известному философу-богослову П.А. Флоренскому, но я не сопровождал его. Помню только, что он вернулся очень удовлетворенный значительностью состоявшейся беседы, особенно просветленный и сосредоточенный.

Тем временем я с Лидией Вячеславовной и Димой, которые к этому времени уже приехали в Москву, отправился навестить композитора Александра Тихоновича Гречанинова, который в это время жил в бывшем имении Апраксиных «Ольгово». Несколько комнат этой исторической усадьбы были предоставлены на лето деятелям искусства, остальные комнаты сохранялись как музей быта XVIII—XIX веков.

Я уже говорил, что Лидия Вячеславовна была композитором и приглашение Гречанинова навестить его приняла с радостью. Вместе с нами отправилась и показывала дорогу падчерица композитора Нина Александровна.

Рано утром, 9 июля, мы выехали по Савеловской железной дороге и через два часа были на станции Яхрома, которая известна своей ткацкой фабрикой. В Яхроме зашли в чайную, позавтракали и пошли пешком через Яковлевку и Стрельцово на Ольгово. Мы вышли в поле и, огибая встречные деревни, легко и весело пошли по проселку, извивающемуся по пригоркам и оврагам, березовым и осиновым лесочкам и по лугам, пахнущим скошенным на днях сеном. Солнце обжигало лицо. Лидия Вячеславовна и Нина Александровна склеивали листья в виде футлярчика

и нацепляли на носы, защищаясь от палящих лучей, шутили, смеялись. Я не ожидал увидеть такое великолепие красок, такое обилие цветов. Оpushки, речонки с легкими полуразрушенными мостиками, просеки с земляникою и грибами. И так все десять верст. Чудесно! Поля всюду хороши. Хлеба зеленые и высокие, двенадцатилетнему Диме почти по макушку.

До Ольгово добрались к трем часам. Александр Тихонович Гречанинов и его жена Мария Григорьевна приняли нас очень ласково. В ожидании обеда и чая нас повели осматривать усадьбу. Сергей Иннокентьевич, смотритель музея, знавший всю историю рода Апраксиных, водил нас по комнатам и рассказывал. Вот что я записал с его слов.

Усадьба принадлежала Апраксиным, родоначальник коих — Опракса был мирзою в Татарской орде. Отец строителя дома, который получил во владение земли Льгово (Ольгово), Степан Федорович Апраксин, умер в 1757 году. Это тот самый Апраксин, который известен своими победами в начале семилетней войны. Он и дошел бы до Берлина (что сделал сменивший его З.Г. Чернышев), если бы не совершил ряд тактических ошибок, в результате которых был отзван в Москву. В Москве он женился и получил Льгово в приданое от невесты. Хотел заняться устройством имения, но был арестован, началось следствие, во время которого он умер. Только его сыну, Семену Степановичу, удалось построить в усадьбе дом на каменном основании, который впоследствии был расширен пристройками до сорока комнат. Строил дом архитектор Компорези. Четыре поколения Апраксиных прожили в этой усадьбе, пока она не перешла во владение Игнатьевых. В 1924 году имение Апраксиных-Игнатьевых находилось в ведении Отдела охраны памятников старины и представляло собой замечательный музей быта прошлых веков.

Парарадная лестница и прихожая украшены батальными картинами, изображающими подвиги Апраксиных на Каспийском и Балтийском морях и под Очаковым. В пристроенной к дому особой галерее — портреты всех русских князей и царей России до Александра III.

Рядом с прихожей — библиотека до пятидесяти тысяч томов, несколько пострадавшая, но по-прежнему великолепная. Чего стоили одни переплеты и знаки *Ex libris!* Под замком — тома французской энциклопедии, французские классики и эротическая литература, английские экономисты и рыцарские романы, греческие и латинские авторы, итальянцы — Данте, Петрарка, Боккаччо, немецкие романтики и трактаты по сельскому хозяйству, русские писатели всего XIX века и русские журналы. Мне разрешили посмотреть первое издание Гнедича, В.Л. Пушкина и А.С. Пушкина. Много книг русских писателей с дарственными надписями. Мебель времени Александра I, статуэтки, гравюры, рукодельные вышивки. В громадной спальне кровати из карельской бересклеты, необытные, двухспальные. На ночном столике будильник, видимо, более позднего времени, подсвечники со свечами, на стенах — масляные светильники. Дубовый кабинет заграничной работы в такой сохранности, что кажется, будто хозяин только что вышел на минутку в английский парк прогуляться. В девичьей комнате пальцы с незаконченным вышиванием, на столике

молитвенник, на столе фарфоровая посуда, буфет со стеклянными дверцами также заполнен посудой. В зале кресла, специально заказанные для императрицы Елизаветы Петровны.

После чая с крупной сочной клубникой мы отправились на плотину, соединяющую три пруда: Нижний Воробей, Верхний Воробей и Средний. Пруды заросли кувшинками. Мне разрешили поплавать на плоте. Я правил шестом и дважды едва не перевернулся на саженной глубине.

Вечером, когда над прудами и парком повис седой туман, стало холодно, и мы вернулись в большой зал, где Гречанинов на прекрасном рояле исполнил для нас несколько написанных недавно вещей. Весь дом освещался свечами, и было очень уютно.

На другой день Александр Тихонович и Дима разбудили меня, и мы отправились купаться в Средний Воробей.

За чаем выяснилось, что Нине Александровне, ночевавшей в кабинете Апраксина, явилось привидение: какой-то неизвестный старик. Разгадать эту загадку нам, конечно, не удалось. Не помог и всезнающий Сергей Иннокентьевич.

К двенадцати часам пошел дождь, и я до обеда занимался в библиотеке, читал «Российский пантеон», «Московский телеграф», «Северную пчелу».

После обеда дождь прекратился, мы распрощались с Александром Тихоновичем и Марией Григорьевной. До Яхромы нас провожала Нина Александровна и Валя, дочь Гречанинова.

Поздно вечером мы вернулись в Москву, в Дом ученых, Вячеслав Иванович ждал нас к ужину.

Эта поездка особенно сблизила меня с Лидией Вячеславовной, и мы с тех пор перешли «на ты».

Много раз потом бывал я в разные годы в Москве и в Подмосковье, но к сожалению, посетить еще раз Ольгово мне не удалось, и я не знаю, что там теперь.

Наконец наступил день, когда я должен был уехать из Москвы. Перевестись в Московский университет мне не удалось, несмотря на попытки Вячеслава Ивановича помочь мне. Хлопотал за меня и мой двоюродный брат Георгий Александрович Мануйлов, но безрезультатно.

Вячеслав Иванович оставался в Москве в ожидании визы для отъезда в Италию. Мы обедали в последний раз и прощались в Доме ученых.

Это было очень долгое прощание. Мы совсем уже простились, я спустился со второго этажа и в вестибюле стал надевать пальто. Вдруг вижу — Вячеслав Иванович быстро спускается с лестницы, бежит в вестибюль: «Я не могу, я должен вас еще раз обнять!» Мы снова обнялись и оба заплакали.

Больше мы не встречались. Но была переписка. Вячеслав Иванович писал из Рима и Павии, где в колледже Борромео он преподавал греческий, латинский и церковно-славянский языки. Я попросил Вячеслава Ивановича дать свои стихи для задуманного альманаха «Норд», чтобы поддержать молодых поэтов, среди которых были и его ученики. Конечно, Вячеслав Иванович откликнулся, и в «Норде» напечатаны четыре его стихотворения: «Тот в праве говорить: я жил»; «Звезды блещут над прудами»; «Возврат»

(«Чудесен поздний твой возврат»); «Чернофигурная ваза» («В день Эллады светозарный»).

Иногда я посыпал Вячеславу Ивановичу свои новые стихи. Вот одно из посвященных Вяч. Иванову, написанное через год после нашей памятной для меня поездки в Москву:

Вячеславу Иванову

По вечерам рассматриваю карту
Италии далекой и желанной,
И снится мне потом, как будто в Риме
Я просыпаюсь утром золотым.

И улицею четырех фонтанов,
Насквозь пронзенный звонкими лучами,
В который раз, походкою весенней
Я прохожу по левой стороне.

И всякий раз, в окне одном и том же,
Склоненное над книгою старинной
(Должно быть, томик вечного Эсхила)
Мне светится знакомое лицо.

Учитель мой, все тот же, как и прежде,
Твой горестный и величавый облик,
Власы, дымящиеся ореолом,
Кольцо опаловое на руке.

И, опаленный радостною болью,
Бросаюсь я к тебе и просыпаюсь,
И снова русское смеется солнце
И освещает карту на столе.

Мне хочется привести одно из писем Вячеслава Ивановича ко мне, отправленное 18 марта 1928 года из Павии на бланке колледжа Борромео:
«Дорогой, родной Витя, я глубоко благодарен Вам за письмо — слишком уж короткое, но более длинного я и не заслужил своим могильным молчанием. Однако не корите меня за него; и так как, видимо, Вы, в самом деле, меня не корите, я объясняю это всепрощающее великодушие верным голосом Вашего золотого вещего сердца, которое могильного молчания не боится, им не смущается (как не смущается вообще отсутствием знаков), но твердо знает, что его любят и за могилой, как я Вас неизменно — в неизменной, даст Бог, сущности Вашей — люблю. Знаю, что вам трудно, и верю, что Бог Вам поможет. Напишите все же подробно о себе, о своем здоровье, своих работах, замыслах и видах на будущее; наконец, сообщите новые из Ваших стихов. Напишите также о товарищах, о Ксении <Колобовой>, о Нелли <Миллиор>, об Альтмане, о Вольпе; кланяйтесь им, а Цезарю Вольпе скажите еще, что я очень перед ним

винюсь. Сергею Витальевичу Троцкому я тоже не писал целую вечность, перешлите ему мой братский привет, я очень, очень за него тревожусь. Пишите мне без большого риска оставаться в проигрыше, потому что теперь, кажется, буду отвечать исправнее, хотя, быть может, и плосковато, то есть не глубоко, не существенно, но достаточно содержательно: иначе, видно, не сумею. Но Вы меня знаете, и сердце сердцу весть подаст.

Обнимаю Вас от всего сердца и желаю счастливой Пасхи. А, может быть, Вы на Пасху-то на Кавказ махнете или к семье, и письмо это до Вас не дойдет? Жаль было бы, потому что хочется подать Вам ласковую весточку и заочно Вас обнять. Ваш Вяч. Иванов».

Вот и из этого письма видно, что мы были для Вячеслава Ивановича не просто студенты, а дорогие ему люди.

Вяч. Иванов умер в Риме 16 июля 1949 года. Но еще и при его жизни мне иногда писали Лидия Вячеславовна и Дмитрий Вячеславович, она писала чаще. Поначалу жизнь в Италии складывалась трудно. Вскоре после приезда заболел Дима. Его поместили в загородный санаторий. Лидия Вячеславовна давала частные уроки музыки, концертировала. В декабре 1927 года В.М. Зуммер писал мне из Баку: «... получил от Лидии Вячеславовны письмо — первая весть от них с самой весны. Тяжело захворал Дима, боялись, скоротечная чахотка. Сейчас он помещен в санаторий, где его будут лечить вдуваниями. Опасность миновала, и Вячеслав Иванович возвратился в Павию. Лидия мечтается по урокам с одного конца Рима на другой, по церквям, где она играет на органе, а тут еще концерты, консерватория и ежедневные посещения Димы, а санаторий его за городом и езды туда час...»

В трудные для Европы 30—40-е годы наша переписка прекратилась надолго и возобновилась только в 70-е годы. Лидия Вячеславовна и Дмитрий Вячеславович писали мне о своей работе над шеститомным собранием сочинений Вячеслава Иванова. Я послал им свои воспоминания о Вячеславе Ивановиче, написанные к столетию со дня его рождения.

15 января 1976 года Лидия Вячеславовна писала мне: «Витя дорогой, карточка Лены (Юкель-Оганян) послужила тем толчком, который мне был необходим, чтобы наконец написать Вам. А именно поблагодарить за Ваши ценные Воспоминания о моем отце. Они настолько искренние, простые и пронизанные любовью, что вы своим очаровательным, Вам присущим подходом полного отказа от себя, достигаете такого проникновения, что Ваш объект живет, и пока я читала, мне казалось, что мой отец находился с нами в комнате (хотя, увы, лишь в 1924 году). Я думаю, что его поэзия последнего периода будет Вам ближе и Вы ее полюбите... Слышала, что Вы много болеете. Это мне грустно и тревожит. Берегите себя. Впрочем, Вы, кажется, не умеете это делать, да и не хотите. Это как если бы я рекомендовала птице степенно шагать по тротуару, вместо того, чтобы летать куда она хочет. (По поводу птиц вспоминаю, что голуби весьма степенно гуляют по тротуарам, так что будем считать, что птица — ласточка и жаворонок.) Но все же берегите себя...»

Дружеское, ласковое письмо прислали мне Лидия Вячеславовна и после

состоявшегося в Союзе писателей вечера памяти Вяч. Иванова, о котором ей написала, вероятно, Елена Александровна Миллиор.

«Рим. 28-II-77. Дорогой Витя, — писала Лидия Вячеславовна, — Сегодня 28-II, день рождения моего отца, и потому тем более охотно Вам пишу, чтобы выразить Вам свою благодарность и радость за вечер, посвященный его памяти, за любовь, с которой он был организован, и в частности, за Ваши героические усилия, которые Вы приложили, чтобы, победив все Ваши недомогания, приехать на этот праздник и в нем блестяще участвовать...»

Проходят годы. Только теперь начинаю я понимать многое в поэзии Вячеслава Иванова, чего не понимал раньше. Это как пружина, которая медленно развертывается долгие годы. Понимаю, как много дал Вячеслав Иванович своим ученикам и мне в частности. И хочется, чтобы мои современники и люди следующих поколений узнали не только творчество Вяч. Иванова, но и почувствовали его человеческое значение, узнали бы, что был такой человек, что такие люди могут быть и бывают. И если в какой-то мере удалось рассказать об его человеческой значительности, я буду рад.

В июне 1985 года умерла Лидия Вячеславовна. Дмитрий Вячеславович один заканчивает работу над изданием сочинений Вяч. Иванова.

Я рад, что успел прислать Лидии Вячеславовне свой единственный стихотворный сборник «Стихи разных лет», вышедший в 1984 году. Вскоре пришел ласковый ответ с подробным анализом моих стихов.

«Дорогой Витя, — писала Лидия Вячеславовна из Рима 12/XI-84 года. — Стихи пришли. Пришла радостная белая книжечка, и ко мне заглянул тот же молодой Витя, которого я всегда с нежностью помнила, — почти мальчика, белокурого, страстного и хрупкого, в белой косоворотке; он встречался в коридорах бакинского университета. А то — позже, идущим со мной по раскаленной от летнего солнца подмосковной деревенской дороге; после этого — того же Витя, побледневшего в смутной абстракции дальнего пространства и глядящего на меня неясным взглядом фотографии незнакомца...»

И вдруг прилетели
Лишь стая стихов легокрылых,
Почтовых <твоих> голубей —

и все волшебно встало на свое место. Опять передо мной вырос и воссоединился в одно первоначальный молодой Витя с проходящим через жизненные опыты (но все же еще тем же молодым Витей), и наконец, особенно мне близким Витей — зрелым и умудренным годами (хотя опять-таки и упорно молодым).

Как редко <можно> найти хорошего поэта — друга солнца, жизни, мажора. Насколько легче и популярней ныть и рыдать. Служить же солнцу трудней и нередко трагичней. Поэзия Ваша реалистична, объективна. Конечно, лирик в Вас окрашивает своим личным переживанием то, что

видит, но Вы не перестаете видеть вещи как они есть, и окружающее Вас живет своей собственной трехразмерочной жизнью.

Вот, например, на стр. 21:

«Так жизнь летит конем неудержимым
По целине (хорошее слово) моих весенних дней.»

Или на стр. 19 в стихотворении «Розовый воробей» — какая молодость, жизненность, реальность!

А на стр. 43 в «Черноморских ночах» как переплескивается на густые лирические переживания грозы, точно светится и даже брызжет на Вас (кстати, с каким искусством написаны эти стихи!).

Быть может, это объясняется семьей, в которой я выросла, но меня всегда приводит в неописуемую радость всякое приближение к техническому совершенству в искусстве, хотя бы в самом скромном. Меня волнует даже вид группы людей, стройно и ритмически идущих под звуки музыки.

Стихи ваши, с моей скромной точки зрения, в огромном большинстве технически прекрасны. Они классичны, родственны пушкинской эпохе; некоторые годятся для идеальной хрестоматии. Кто-нибудь скажет: анахронизм? Пусть. Слава Богу, что такие поэты существуют.

В стихах молодости мне очень по душе все, посвященное Баку. Некоторые из них — маленькие шедевры («В Бакинской крепости»), стихи «Баку», наоборот, мне кажутся неровными: прекрасные стихи чередуются с немного беспомощными. Но в целости все бакинские стихи мне так нравятся, что, — не будь я семью годами старше Вас, я бы сильно призадумалась, не объединить ли их в одно целое и не написать ли на них симфоническую вещь — канту для оркестра, хора и солистов.

Перелистывая книжку, везде хочется остановиться... Вот серия, посвященная осаде Ленинграда. Она интересна исторически. Интересно тоже, как такие события влияют на отдельную личность. (Но в данном случае мы имеем дело с личностью, которая имеет особенный дар стушеваться, отходить на задний невидимый план перед великими явлениями.) Трагичность и значительность темы военных стихов здесь, быть может, как бы заливают искусство. Самый сюжет похож на выливающуюся пену из выкипающего котла.

Но вот среди военных стихов вдруг попадается чисто лирический «Подземный ветер». Какой трагический накал: какое мастерство в простоте слова!

Как интересно описание Эрмитажа 1942-го года, написанное как бы в виде полуимпровизированного письма. Очарователен «Огороды на Марсовом поле».

А мудрое обращение к самому себе 3-го апреля 42 г. осталось Вашим девизом и по сей день? (Лидия Вячеславовна имеет в виду заключительное четверостишие:

Не жду ни славы, ни наград
И с легкостью тружусь.

Вот отчего и жить я рад
И смерти не страшусь. — В.М.)

Всей книжки не исчерпаешь. Вразброску скажу, что мне близко. По всей книжке встречается похвала деревьям — кипарис, сосна, осенний лес, ясень и т.д., и складываются эти стихи в целый хор славы.

У Вас всегда прекрасны стихи, посвященные тем, кого Вы очень любили: все, посвященные Волошину, стихотворение Вячеславу Иванову, очаровательная фантастическая рапсодия, описывающая Хлебникова, на конец, и многие, обращенные к любимым женщинам.

V-й отдел несколько неровный. Производит впечатление чего-то трудного, что хочется, но нелегко преодолеть. Характерно для него прекрасное стихотворение «Зачем».

Но что меня особенно радует, это стихи восьмидесятых годов, действительно «Подарок нежданной весны» — подтверждение солнечности Вашей поэзии. Каким-то внерациональным путем эти стихи в моей душе Вас еще крепче, чем было прежде, роднят с моим отцом. Этих стихов немного, но я их все люблю. Молодец, Витя! Настоящий поэт молодости! Возвращаюсь к началу послания: Витя зрел и умудрен годами, но опять-таки упорно молод. Спасибо почтовым голубям за подарок... Сердечно Ваша Лидия Иванова».

Это письмо Лидии Вячеславовны мне особенно дорого: я как бы вновь ощутил отеческую ласку моего Учителя.



V.A. Мануйлов. 1960-е годы

В.А. Мануйлов

Записки счастливого человека

Воспоминания. Автобиографическая проза.
Из неопубликованных стихов

*Под редакцией
д.ф.н. Н.Ф. Будановой*



Фонд
регионального развития
Санкт-Петербурга



Европейский
Дом



Европейский
Университет
в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
1999